

## ВЕРА ИНБЕР



вижу перед собой небольшой овальный стол красного дерева. Слабо дымится трубка, положенная на край хрустальной пепельницы. В прозрачном стакане стынет чай.

Настольная лампа освещает крупный, красивый подбородок, четко вылепленный рот. Глаза и лоб в тени.

Почтительным полукругом расположились поодаль кресла, обитые чем-то алым. За плотными шторами — студеной зимний вечер 1918 года.

Я слышу характерный голос. Каждое произнесенное слово четко, чисто, сочно, свежо, как ядрышко ореха. Знаки препинания не те, которые на бумаге: они неожиданны, но убедительны чрезвычайно.

Алексей Николаевич Толстой читает только что законченную повесть «День Петра». Тот самый «день», который впоследствии развернулся в целую жизнь. В эпопею «Петр Первый».

Все это я слышу, вижу, все ярко освещено светом памяти. Одного не могу вспомнить — где же именно протекает этот вечер.

То ли на Трубниковском переулке, в одном из последних литературных салонов дореволюционной Москвы. В этом доме сам хозяин — поэт. Он пишет лирические стихи и издает их с посвящением жене. Настоящая хозяйка здесь именно она, дочь миллионера, владельца чайных плантаций. Это широкая в кости, с уверенными движениями женщина, меценатка, покровительница муз.

Не она ли глядит на Толстого своими властными глазами? А может быть, чтение происходит на Новинском бульваре, в просторном особняке. Его владелица — худая, тонкая, нервического склада купчиха с цыганскими волосами и чуть плачущим смехом.

Сегодня гостиная полна. Передняя настолько завалена шубами, что часть их перенесена в ванную комнату, где в мраморной ванне теснятся бутылки с французским шампанским.

А может быть, и не на Новинском бульваре все это было — не помню. Да это и неважно. Важна атмосфера вечера, характерная для некоторых литературных кругов того времени. Кто из нас, писателей старшего поколения, не бывал на таких вечерах...

Познакомившись с Толстыми в самом начале 1918 года, я сблизилась с ними настолько, что вскоре переселилась в дом на Малой Молчановке, где они жили. Только один лестничный пролет отделял меня от моих друзей.

Говоря современным языком, Толстые «взяли шефство» надо мной, приехавшей в Москву совсем недавно. С Толстыми я начала бывать в уже догорающих литературных салонах и в недавно рожденных кафе, где выступали прозаики и поэты.

В одном из таких салонов встречала я Бунина с его сухим, желчным, старинного письма не лицом даже, а скорее ликом. Весь Бунин был словно высушен неустанным, безрадостным горением ума.

В литературном кафе впервые увидела я Маяковского. Переполюнявшая его пружинистая сила с каждым днем разворачивалась все сильнее.

Впрочем, бывало и так, что завсегдатаи салонов и кафе встречались под одной кровлей. И возникающие тогда споры были прообразом будущих сложных размежеваний.

Алексей Николаевич Толстой был одним из тех немногих, кто одинаково уверенно чувствовал себя и в салоне и в кафе. Его дарование вряд ли могло в ком-нибудь вызвать сомнение.

Сомнения иного рода возникли позднее в нем самом и на какое-то время предопределили часть его творческого пути.

В 1919 году я видела Алексея Николаевича, в плену этих сомнений, в Одессе, накануне его отъезда за границу.

Толстой запомнился мне сумрачным, озябшим. Он часто поводил плечами, как бы силясь сбросить с них невидимую тяжесть.

Время в стране было трудное, сложное. Ранняя южная весна того года была сурова. Бушевали норд-осты. Вид бурного, серого моря вызывал озноб, какую-то ломоту сердца. Тяжко было отплывать по такому морю на чужбину.

...В 1934 году я провела два-три дня у Толстых, в Детском Селе (так оно тогда называлось), где они поселились по возвращении из-за границы. Была зима. Высокие алмазные снега покрывали пушкинские аллеи, подступали к окнам и балконам. Но в рабочем кабинете Алексея Николаевича было райски тепло. Жарко топились печи деревянного дома.

Гравюры, книги, рукописи, различные материалы Петровской эпохи наполняли просторную комнату Толстого. Но лучше всего был сам хозяин за громадным письменным столом.

Алексей Николаевич был в теплой мохнатой куртке, голова живописно обмотана чем-то пестрым («люблю, когда голове тепло»).

Толстому было тепло. Ему хорошо работалось, он был согрет, прогрет, источал тепло.

Он снова был у себя дома.

Но вернусь, однако, к Москве 1918 года.

Мой литературный багаж того времени был невелик. Он состоял из двух поэтических сборников, первый из них, «Печальное вино», вышел в Париже, в крайне «левом» оформлении.

— Ох-ох! — сказал Толстой, увидав иллюстрации этого сборника.

Во втором моем сборнике, «Горькая услада», Алексей Николаевич обнаружил такие строки:

Все ярче звезды. Небо все железней.  
И скоро я, бледнее молока,  
Умру от неразгаданной болезни  
И унесусь за облака.

— Гм... Что это за неразгаданная болезнь? Не насморк ли? Я замечаю, вы имеете к нему склонность, — ехидно спрашивал меня Толстой.

В целом же он относился к моему творчеству хотя и несколько скептически, но скорее положительно.

Время от времени Толстой принимался искоренять мои «одессизмы», хотя надо сказать, что и в то время их было не так уж много.

Однажды случилось мне употребить в разговоре слово «бúтыль»: ударение я сделала на первом слоге.

— Как, как? — встрепенулся Алексей Николаевич. — Как вы сказали? — Больше я так не говорила.

В другой раз он обрушился на слово «фортка».

— Это еще что такое? Форточка — хотите вы сказать?

— Но у нас на юге так говорят.

— А вот если вы будете так отвечать, то можно нам и вовсе не беседовать. Мы не на юге, а на севере. Извольте произносить правильно.

Однажды, набравшись храбрости, я показала Алексею Николаевичу свой рассказ «Машутка», второй в моей жизни.

Двенадцатилетняя Машутка, приехавшая из деревни, попала в Москву, где начиналось уже квартирное «самоуплотнение». Шустрая Машутка обслуживала разнообразных жильцов такой квартиры. Рассказ кончался тем, что Машутка, бежавшая с каким-то очередным поруче-

нием, была убита случайной пулей в один из дней октябрьских боев.

Алексей Толстой, читая мое произведение, внезапно коршуном налетел на описание внешности Машутки. «Косицы у нее были желтые, а глаза — абсолютно голубые», — было у меня написано.

— Эт-то еще что такое? — загремел Толстой, буравя пальцем страницу. — Эт-то что за слово?

— Которое? — робко спросила я.

— «Аб-со-лют-но голубые» — сказано у вас.

— А что? — недоумевала я.

Алексей Николаевич так разгневался, что стал даже кротким.

— Да как вы не понимаете, дорогая, что слово «абсолютно» здесь ни к черту. Глаза, видите ли, «абсолютно голубые». Это у Машутки-то? Или русского слова не отыскалось?

— У меня сначала было сказано «совершенно голубые», но я хотела, чтобы было посильнее.

— И вы решили, что от слова «абсолютно» глаза станут голубее. Эх вы... писательница.

Не скоро еще вышло мне прощение. Не раз в самые неожиданные минуты Алексей Николаевич, при взгляде на меня, издавал свойственный ему фыркающий звук:

— Гм... «абсолютно»!

— Простите, не понял, — учтиво осведомился однажды собеседник.

— Кому нужно, тот понял, — сурово отрезал Толстой.

Но однажды случилось и Алексею Николаевичу удивить меня диковинным ударением. Говоря о «Войне и мире», он фамилию «Ростов» произнес с ударением на первом слоге: «Рѳ́стов».

Я удивилась, но промолчала, конечно.

И только совсем недавно, в воспоминаниях В. Ф. Булгакова о Льве Николаевиче Толстом, я прочла такие строки: «Сегодня написал Лев Николаевич одно письмо, я думаю самое краткое из всех, когда-либо писанных. Вот его содержание: «Рѳ́стовы. Л. Т.». Написано оно ученику III класса Федорову в ответ на его вопрос, как произносить встречающуюся в «Войне и мире» фамилию: «Рѳ́стовы или Рѳ́стовы».

Прочтя это, я подумала: «Значит, и Алексей Николаевич иногда ошибался в ударениях...»

Каждому, кто так или иначе соприкасался с Алексеем Толстым, был ясен его великолепный творческий тонус. Насколько можно было судить со стороны, он писал легко. Не торопливо и не поспешно, а именно легко: щедро, широко, богато.

Его рабочая сфера была полна озоном: в ней дышалось глубоко, во всю грудь. Алексей Толстой вставал из-за письменного стола веселым, сильным. Сладок был ему заслуженный отдых. Как непохож он был на бледных, неврастенических литераторов, терзающих бумагу и то и дело снимающих невидимый волосок со своего тощего пера.

Алексей Николаевич Толстой был на редкость цельной натурой. Как человек, всеми пятью чувствами впитывал он жизнь. И так же полно отдавал он в своем творчестве все взятое у жизни.

Даже внешний облик Толстого совпадал с его манерой писать.

Даже любимого героя он выбрал себе под статью: Петра Первого.

Выпуклость, рельефность, красочность толстовского письма поразительны.

Иные страницы «Петра» таковы, что, кажется, вырежь страницу из книги, вставь ее в рамку — и будет она висеть на стене, как прекрасное создание живописца: радуя глаз и украшая жилище.

\* \* \*

Осенью 1941 года, в суровом и грозном Ленинграде, ко мне в руки попала выпущенная Политическим управлением Ленинградского фронта маленькая, тоненькая, карманного формата книжечка: в ней было всего 25 страничек. В конце — четыре белых листочка: «Для заметок».

Книжка эта, привезенная с передовой, содержала в себе две статьи Алексея Толстого: «Москве угрожает враг» и «Кровь народа».

Читанные уже раньше в газете, толстовские строки

приобрели здесь какой-то особый, огненный смысл. Они как бы прожигали страницы.

Но наиболее сильное впечатление произвела на меня фраза, написанная неизвестной мне рукой, на одном из листков «Для заметок»: «Вот поняли теперь, что жизнь, на что она мне, когда нет моей родины». Слова эти были взяты из статьи Толстого «Москве угрожает враг».

И, прочтя эту строчку, я снова услышала голос Человека высокой судьбы, патриота, борца за счастье народа, голос большого писателя — Алексея Николаевича Толстого.

1955